

*Кашимир Лемонке*

# НАВАЖДЕНИЕ



Камиль Лемонье

**Наваждение**

«Седьмая книга»

1897

## **Лемонье К.**

Наваждение / К. Лемонье — «Седьмая книга», 1897

Страсть всегда гипнотична и иррациональна! С ней бесполезно бороться, её невозможно скрыть и избежать! Вам не поможет разум и логика, вас не спасет бегство и физические недуги! Ей не нужны слова и условия, она равнодушна к свидетелям и соседям, она просто сметающий ураган на пути двух тел. А вы, задыхались когда-нибудь от жажды любить?..

# Содержание

Глава 1	6
Глава 2	10
Глава 3	12
Глава 4	15
Глава 5	17
Глава 6	19
Глава 7	22
Глава 8	27
Глава 9	28
Конец ознакомительного фрагмента.	30

# Камиль Лемонье

## Наваждение

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

## Глава 1

Играя золотым карандашиком, доктор сказал мне:

– Правильный образ жизни... режим...

Но это все не то – не в том болезнь. Болят нервы, болит мозг. Я ведь сам это отлично знаю, но все это не то, это что-то другое...

Выйдя на улицу, я только пожал плечами и разорвал в клочки рецепт. И вот мимо проскользнуло прекрасное милое личико. Личико девочки взглянуло на меня. Я ее не знал, никогда не видал. А ведь она-то лучше всех врачей знает, какая у меня болезнь.

Может быть, я очень уже стар. Во мне сидит древний человек, каким я был в отдаленную веками пору. Да, я уже тогда был одержим этой самой болезнью, – мою кровь сжигал разъедающий огонь. А мне нет даже и тридцати лет!

С нами жил бодрый, красивый дед – в некотором роде великан, достававший потолок, когда вытягивал кверху руки. Зимой он плел силки и сети наверху в своей маленькой, никогда не отапливаемой каморке. Это был очень мягкий человек. Любил очень рыбную ловлю и охоту. К осени уходил в лесную дачу. У нас всегда в изобилии бывала дичь. А однажды я услышал, как весело смеялась одна из горничных.

– Дед еще раз намеревался устроить ребеночка.

Я понял смысл этих слов только гораздо позже.

Дед возвращался домой с первыми хлопьями снега и всегда немного чего-то стыдился. Отец мой сурово выговаривал ему с покрасневшимся лицом и при моем приближении смолкал. Моя матушка уже была в юдоли беспечальности, покоилась на кладбище в другом конце города.

С течением времени прекратились выговоры отца. Снова передо мной красивый дед, ласкающий меня своими большими руками, которые плели из веревок сети.

Мои воспоминания не простираются дальше. Я был маленьким мальчиком. У меня была сестра старше меня на восемь лет. Она оставила родительский кров, чтобы выйти замуж. Во мне это известие вызвало необъяснимое волнение. Целую ночь я беспокойно ворочался в ее постели, обливаясь слезами и вдыхая аромат ее волос. Она оказалась просто женщиной, и я ревновал ее к своему зятю.

Мы стали жить втроем: дед, отец и я. Иногда в отсутствие моего отца из верхней каморки доносился страшный шум. Дед смеялся смехом, который мне не приходилось слышать ни у кого. Его смех напоминал ржание жеребца в пору любви. И в то же время сверху спускалась то одна, то другая горничная и ругалась.

Затем меня отдали в пансион к иезуитам. В конце года, в зимнее утро, приехал отец и вызвал меня в приемную. Он сказал мне:

– Твой дед умер.

Я понял так, что с этим пришло избавление всему дому. Дед был человеком иной поры, остатком человечества, еще очень близкого к фавнам и сатирам, с инстинктами хищника, но по существу безобидным стариком. Ему следовало бы жить в лесной чаще близ реки, охотясь за самкой и дичью. Будучи уже семидесятилетним стариком, он отправился под осень к себе в лесную дачу, и там от него забеременела жена одного из наших крестьян. Об этом знали все. В окрестностях было очень много маленьких детей, чертами лица похожих на дедушку.

Мне кажется, деда я любил больше, чем отца. Он был ласковым и мягким буйволом среди домашних животных. Мне доставляло удовольствие таскать его за нос, а он меня учил, как вырезать из тростника дудку. Он умел выделять разные незатейливые штучки из дерева – приманки для дичи, пищики, силки, тенета, рукоятки для лопат и кос и тому подобное. Он

подражал тьяканию лисицы, реву кабана, трещанию аиста. Свое богатство – одно из наиболее крупных в нашем краю – он поглотил с прожорливостью зверя.

Никогда не забуду я гордого выражения его лица, когда он покоился между четырьмя восковыми свечами. В день его погребения в доме была глубокая тишина.

Мой толстый нос напоминал дедушкин. По-видимому, толстые носы были особенностью нашего рода. Однако у моего отца лицо было худое, и нос ничем не выделялся. Это было лицо приказного с холодными и вдумчивыми глазами. За всю свою жизнь он убил только раз. Случилось это во время охоты с дедом. Какое-то животное, подстреленное отцом, упало как подкошенное. С тех пор он уже больше никогда не брал в руки ружья.

Мой дед оставил мне одно ружье – уточницу для стрельбы по уткам и два карабина. Притронуться к ним я никогда не чувствовал желания. Бурная и алая кровь сильных поколений превратилась во мне в тусклый спокойный ручеек с однообразным течением. Если бы не уклонение от природы, которое во мне сказалось, я бы наследовал от отца его любовь к правильным и кропотливым занятиям. Отец мой говорил мало, одевался во все черное и выходил обычно из дому только по ночам. Он был важен, робок и замкнут в себе.

Дважды в месяц он посещал могилу моей матери. Я был очень удивлен, когда узнал, что до конца жизни отец был исправным посетителем дома с закрытыми ставнями. А вместе с тем вся его жизнь была образцом порядочности и благопристойности.

Я наследовал от него его мелочный ум и тяготение к убогой будничной обстановке. Сам он распутничал с осторожностью и относился с открытой нетерпимостью к разврату других. В юности мать оберегала его ревниво и нежно от всего дурного, и его юные годы протекли в тепловатой, как парное молоко, атмосфере девичьей. Когда ему было два года, его все еще одевали в распашонки, в девочкины платяца, не указывающие на определенный пол.

Дед тогда уже жил уединенной и вольной жизнью среди леса. Только когда умерла бабушка, ему вспомнилось, что у него был сын.

В небольшом провинциальном городке, где мне пришлось бы скрываться, как от других, так и от самого себя, я поступил бы так же, как мой отец; я бы также по ночам ускользал из дому в пальто с поднятым до самых ушей воротником в дом с вечно закрытыми ставнями. Но я предпочел большой город, и потому мне не было надобности поднимать воротника до самых ушей.

Однако я все же не могу сказать, что внимал велениям природы. Человеком моего поколения был скорее дед – тот самый старик, что под осень разведывал, на какой лесной опушке лежала человеческая дичь, которой можно было поживиться. Несомненно, он продолжал род хищников, гонящихся за свежей добычей. Но все мои предки ходили с высоко поднятой головой по открытой равнине – а я хоронился под заборами и следил со скрытым жадным вождением за бегством жертвы, которую они преследовали с жадностью животных. Женщина вселилась в меня однажды и никогда уже больше не покидала меня. И стал я одержимым тоской по ее волнующей любви.

Когда еще моя сестра жила с нами, к нам приходили ее сверстницы, почти барышни. Им всегда бывало любопытно повидать брата подруги. В этом скрывалось смутное влечение полов, когда впервые маленький будущий мужчина и будущая женщина научаются узнавать друг друга. С одной стороны как будто устанавливаются братские отношения, с другой же – привязанность основывается на зарождающемся чувстве друг к другу.

Я безумно был влюблен в высокую девушку, которую только и видел сквозь замочную щелку. Иногда обе, Эллен и она, принимались искать меня по всему дому. Я бросался по лестнице на чердак.

Один раз они поднялись туда, а я спрятался в корзине для белья. Потом сошел на цыпочках вниз и, добравшись до двери, припал глазом к отверстию в замке: я бы умер, если бы вдруг открылась дверь.

Высокая Дина, наконец, вышла из комнаты, и я долго, долго целовал стул, на котором она сидела.

Она тоже вышла замуж немного позже, чем Эллен.

Нас обучали самым строгим правилам пристойности и благоприличия. Я никогда не мог узнать, как была устроена грудь моей сестры. Ее комната была удалена от моей. Комната отца тоже отделялась от моей дверью, и дверь эта никогда не закрывалась. Одеваясь, он задерживал ширмы. И никогда не мог я узнать, любил ли он меня.

Он тщательно следил за исполнением мною религиозных обязанностей. Целовал меня редко. И, казалось, был особенно озабочен тем, чтобы сделать из меня молодого, корректного человека, огражденного вполне от всяких греховных искушений.

Об этом он часто упоминал в разговорах. Об этом я часто слышал и от священника, который исповедовал меня каждый месяц. Я не знал ничего, кроме того, что был грех, и боялся я его на каждом шагу, при всяком искреннем, непроизвольном движении моей детской души.

Так учили меня противиться природе – а она только сильнее пробуждалась во мне. Двенадцати лет я увидел мою наготу, и она явилась для меня причиной тайного удовольствия. Случалось, что мой отец, услышав ночью мои вздохи, входил ко мне и приближался к моей постели.

Я приучался к мысли, что надо обуздывать свою радость и порывы, не возвышать голоса, вообще подавлять всякие проявления внутреннего существа.

Однажды Эллен был сделан выговор за то, что слишком нежно ласкала меня. В этот день я бессознательно плакал горькими слезами, как будто мне была нанесена глубочайшая рана, грубо оборвавшая связывавшие нас нити – плакал над той постыдной подкладкой наших братских отношений, которая нас делала чужими.

И с тех пор при приближении Эллен я чувствовал одну только глухую и необъяснимую тоску. Я прятался от нее, как от отца.

Но спустя несколько дней после разыгравшегося события, как-то вечером, отец захватил меня в то время, когда я стоял за дверью и разглядывал прекрасную Дину. Он взял меня за руку, втащил по лестнице наверх и запер в комнату. Больше я уже не видал высокой девушки... И как раз с этого момента я полюбил ее безумно.

Мой отец был, таким образом, одной из причин моих страданий.

Пока я находился с ним, я жил замкнутой одинокой жизнью в доме и саду. Не было на стенах ни одной картинки, ни одного приятного, ласкающего изображения, которое могло бы вызывать чувство прекрасного. И даже библиотека оказывалась для меня запретной.

Об органах жизни говорили всегда лишь недомолвками. Быть человеком казалось постыдным. Может быть, любовь для моего отца являлась унижительной слабостью, и потому он посещал дом с закрытыми ставнями.

Я узнавал о гармонии жизни и о красоте моего тела только сквозь мучительное чувство их безобразия и греховности, за что они и были осуждены Богом и людьми. Уже поздно, слишком поздно было полюбить их без мысли о грехе.

И рос я печальным ребенком, думая, что за малейшее прикосновение к своему телу я буду обречен на муку вечную.

Этого чувства я никогда не мог изгнать бесследно. В глубине моей души всегда таился стыд пред наготой всякого существа и пред обозначением, которое носила эта нагота у мужчины и у женщины. Сам я не видел в этом ничего мерзкого. Только, когда я начинал размышлять, припоминая безмолвное омерзение, с которым внушалось мне избегать понимания известных частей моего существа, они казались мне моим живым укором.

Все это было скорее прекрасно, а мне приказывали презирать. Природа наделила меня этими органами лишь затем, чтобы я их ненавидел. Они были как бы заблуждением и недочетом творенья. Они представляли собой как бы увековеченное, живое угрызение совести Бога

и, когда позднее я узнал, что в них сосредоточивается тайна жизни, как в чудесном горниле рода человеческого, я возмутился. Но краска стыда уже не покидала меня.

Но тогда я не знал еще божественной тайны жизни. Знал я только, что познавая мое тело, я испытывал смутное наслаждение, острое и странное, похожее на ощущение, когда вкушаешь от незрелого плода.

Мое тело стремилось к жизни, и жизнь помимо моей воли влияла на нервы. Оно жило самостоятельной, глубокой жизнью сквозь течение колебательных волн, как звук и свет – как отражение моих переживаний по ту сторону сознательного существа.

Я смутно чувствовал, как пронизывал меня какой-то магнетический ток, тот самый закон притяжения и колебаний, управляющий механизмом мира.

Ребенок инстинктивно стремится испытать самого себя. К этому его влечет так же естественно, как к еде и питью. Деятельность его клеток, свободная игра сил приводит его в соприкосновение с его членами. И единственное восприятие Бесконечного, которое дано людям познать в любовных спазмах, – содержится уже в том коротком миге, когда, благодаря пробуждению полового чувства, человек выносится за грани жизни и погружается в ощущение вечности.

А надменное непонимание воспитателей продолжает именовать постыдным пороком бессознательную муку обрести себя в первом акте самопознания.

Но настанет пора, когда, напротив, пробуждение чувств будет использовано наставниками ради всестороннего развития человеческого существа, когда будут учить почитать все органы человеческого тела и те цели, для которых они предназначены и благодаря которым приспособлены к мировой эволюции. И эти учителя истинной жизни, эти жрецы тайных божественных замыслов, не привьют ребенку смешной и нелепой стыдливости – а заменят ее идеей культа природы, религией человека, как существа физического, с ее обрядами, которые не должны никогда нарушаться.

Но разве не все надлежит переделать в обществе, которое изгнало благоговение перед красотой и в основу отношений между мужчиной и женщиной положило свой страх перед скрытыми органами тела?

Половое безумие, возмущение инстинкта, подавляемого в его произвольных проявлениях – вот болезнь человечества, заразившая корни самой жизни.

Страдают все, и, однако, кто из вас, читая эти строки и втайне согласившись со мной, не будет негодовать перед всеми, что какой-то человек посмел занести руку на святой ковчег общепризнанной стыдливости.

## Глава 2

Я поступил в коллеж и почти тотчас же стал очевидцем такого варварского зрелища. Один из воспитанников, пойманный в нужном месте, был приведен в класс со связанными руками – а руки эти совершали не больше того, что совершали сами воспитатели, когда были детьми. Пытка тянулась все послеполуденное время, и сами мы, совершавшие сотни раз тот же проступок, с шиканьем и гоготаньем предались низкому истязанию того, который не воспротивился соблазну и за то был выставлен перед нами, как позорный преступник. Он сделал лишь одну ошибку – позволил себя накрыть на месте.

И вот даже до сегодняшнего дня не могу встретить этого старого товарища, чтобы та сцена не всплыла у меня в голове, и я не испытывал к нему, несмотря на его зрелый возраст, непобедимого чувства отвращения за его падение. И кажется, это дикое осуждение так и тяготеет над всей остальной его жизнью: он так и не мог выбраться на дорогу сквозь чашу общественной жизни. Я узнал, что он кое-как прозябает в очень плачевных условиях.

А превосходнейший отец-наставник думал только дать назидательный пример, ибо в классе свирепствовало распутство. Случилось, что зараза, вопреки его ожиданию, захватила лучших воспитанников: составлялись целые кружки, и сам я тоже к ним примкнул.

Коллеж посвятил меня в тайны пола. Все, что я должен был бы узнать осторожно и постепенно от наставников, я познал в общении с моими циничными и похотливыми товарищами.

У большинства из них были сестры, с которыми и проделывались первые любовные опыты. Я смею утверждать на основании многочисленных признаний, что большая часть юных девушек вступает в брак, наполовину изведав с братьями половую любовь. И это – еще одно последствие отчужденности полов, ибо чем насильственнее их разъединяют, тем сильнее они ищут друг друга, и тем сильнее возбуждается половое чувство.

Эти скороспелые самцы не имели, разумеется, представления обо всей области половой жизни, занимались наугад случайными опытами. Половое бешенство юнцов напоминает собою разве только старческое распутство.

Товарищи разоблачили предо мною формы женского тела, и я узнал его священную тайну. И в меня вселились одержимость и страх. Я тайно проливал слезы о том, что и Дина устроена не иначе, чем все, о которых мне рассказывали товарищи.

Женщина смутно рисовалась мне, как баснословный символ пагубной плотской любви, и я знал Цирцею пока лишь сквозь покров темной религиозной легенды. И этот смутный, томительный страх находил себе пищу в моем юном, религиозном рвении. Я не мог думать о седьмой заповеди, чтобы мою душу не охватывали страх и вожделение.

Завеса, скрывавшая тайну пола, разодралась, и я был подавлен. Меня влекла и отталкивала эта тайна, как уродливая форма существа, не имеющего сходства с собственным моим телом.

Никто из моих товарищей не был воспитан на той мысли, что оба пола являются дополнением друг друга и созданы непохожими только ради осуществления акта Красоты и Гармонии в слиянии обоих в одно единство.

Сам я до этих пор жил в полном неведении этой противоположности, которая разрешается в полном восторге единении.

Воспитанникам нравилось грязнить нежный цветок любви отвратительными сравнениями, пошлыми описаниями таинственной красоты, для которой любовь есть лотос жизни, священная чаша человечества.

Но и я в свою очередь смотрел на любовь, как на ошибку природы, как на символ безобразия греха.

Все первоначальное воспитание в семье построено на этом отвращении к наиболее ценному и прекрасному органу, и, думается мне, все преждевременно начавшие половую жизнь юноши испытывают то же самое чувство.

Мне пришлось видеть юных девушек, непорочную наготу которых грубо выставляли напоказ и приносили в жертву, благодаря их неведению и неопытности. Только впоследствии я понял причину этого кощунственного преступления. В то же время я узнал насколько прочно сидят в нас наши предки. Их кровь вызывает в нас жажду насилия и хищничества, как во времена варварства, когда женщина была бессознательной рабыней инстинктов самца.

И тогда я ясно понял, какой огонь сжигал моего деда, когда он подкарауливал на лестницах горничных.

## Глава 3

Во время отпуска в пятый год моего ученья случилось одно событие.

Отец отправил меня под охраной садовника на месяц в нашу лесную дачу. Во всей даче находился лишь один я. Садовник с семьей занимал одну из служб. Иногда по целым дням мы не видели никого.

Однажды утром, когда моросило, я отправился к реке. Она находилась на другом краю леса.

Некоторое время шел я под высокими деревьями. Пахло молодой корой и влажным сероцветом. Птицы нехотя перекликались, перелетали с веток, копошились в густоте листвы.

В конце дороги я, наконец, увидел сероватый цвет воды. Широкой полосой, которую рябили дождевые капли, река спускалась к равнине и селению между рядами лиловой ивы под пасмурным и больным небом, беспомощно свисавшим над землей.

Я растянулся под ивами, ведь я сам был болен недугом лета! Сколько времени уже не видел я дружеского лица. Хотелось, чтобы кто-нибудь был рядом. Не знаю, о чем бы я стал тогда говорить, – может быть, ни о чем, – но было бы так приятно, так хорошо, если бы кто-нибудь был рядом, чтобы дышать вместе свежими испарениями земли.

И в то время, как я грустно глядел на другой берег, вдруг высокий старик поднялся с земли, и я узнал в нем моего деда.

Он стал косить траву широкими исполинскими размахами, напоминая буйвола. Потом нагнулся, срезал ножиком тростинку и сделал свирель.

Ветер слегка овевал цветущую иву. Но ведь дед, подумал я, давно уже умер. Оказалось, что на другом берегу, какой-то крестьянин, досадливо махнув рукой, стал удаляться с поля.

Меня охватила грусть: этот дедушка так часто в детстве развлекал меня своей свирелью – его руки ласкали меня с такой сердечной, нежной теплотой. И женщины, раз попавши к старику, понимали, что им от него не уйти, и оставались с ним, очарованные, как пением птицы.

О любовных похождениях чудака-старика рассказывали мне наши горничные.

С такими мыслями я подошел к повороту реки.

На обширной зеленой равнине в этом месте возвышалась небольшая рощица.

Сквозь деревья виднелись две коровы, пощипывавшие траву, но никто как будто не сторожил их. А вместе с тем кто-то под листвой тихонько плакал. Подумалось мне, что это журчал ручеек, вырываясь из земли. Приблизившись, я увидел длинную худую девушку, лежавшую на животе, уткнувшись головой в ладони. У нее были бледные серебристые волосы, и голые ноги выдавались из-под слишком короткой юбки. Сперва увидел я только ее волосы и ноги, но, когда проходил мимо нее, она приподнялась на локтях и взглянула на меня глазами злого зверька.

– А-а-а, вот, вот, – вскричала она, – он опять поколотил меня!..

Я не знал, что она говорила о старике, крестьянине, который шел по равнине. Она снова упала на мокрую траву и стала раздраженно бить кулаками по земле. Я старался подыскать слова утешения, и она, наконец, перестала плакать и принялась недоверчиво разглядывать меня сквозь светлые пряди волос.

– Я узнаю тебя, ты хозяйский сын, – я тебя тоже ненавижу.

– Но ведь я тебе не сделал никакого зла.

Ко мне снова вернулась способность речи. Я взглянул на нее решительным взглядом. Мне казалось, что я ее ненавижу тоже.

Так глядели мы друг на друга. Нет, эта девочка не была красива. Ее острые и холодные глаза вызывающе взглядывали на меня. Никогда не приходилось видеть мне более дикое выражение хитрости и злобы. Она принялась под конец подбирать камни и швырять их пред собой.

– И все из-за твоего дедушки, – промолвила она вдруг. – Меня зовут Ализой.

При этом взглянула на меня уже не так злобно. Я тоже больше не злился. Она снова улеглась на живот, как раньше, когда я ее заметил, прижалась худой грудью к сырой траве и стала болтать ногами. Ноги у нее были худые и смуглые, цветом старого самшита.

Эта девушка не знала стыдливости. Я стал жадно выведывать беспокойными глазами ее намерения.

– Ты хочешь сказать, что дед...

– Да, ведь это всем на деревне известно. Заглядывал он иногда к нам, давал немножко денег, сажал меня к себе на колени и, смеясь, называл своей милой дочкой. У него были такие нежные руки. И вот один раз взял да умер. Матушка моя плакала по нему и сказала мне: «Вот он был старый, а уж такой забавник. Я его крепко любила. Теперь его уже нет больше, и ты можешь убираться на все четыре стороны». С этих пор мой новый отец всегда бьет меня.

Я уже теперь не так любил деда. Но мне не нравилось, чтобы кто-нибудь злословил на человека, который в детстве дарил мне самодельные дудки. Наступило неловкое молчание.

Она стала скликать коров и ругалась, как мальчишка. Потом повернулась, присела на коленках и, заплетая белокурые волосы в косы, спокойно промолвила:

– В тебе и во мне течет одна кровь, а ты гораздо красивее меня.

Я готов был обругать ее... Ведь я был сыном богатого и всегда носил чистый костюм. Я никак не мог согласиться, чтобы было нечто общее между этой грязной пастушкой и мной. Она заметила, что я разозлился и сказала мне покорно:

– Я совсем не хотела тебя обидеть.

Она указала мне под деревьями небольшое возвышение из мха, едва окропленное дождем.

– Тебе было бы там лучше.

Мы сели рядом. Я уже больше не злился. Она принялась одергивать слегка свою юбку, чтобы прикрыть голые ноги, как будто стыд вернулся к ней.

– Это твои коровы? – спросил я ее.

– Да, – вот та чернушка дает нам три ведра молока. Ну, а уж краснушке похвастаться нечем.

Она положила свою руку на мое колено, и странная теплота разнежила меня. Я подумал: «Надо и мне положить руку на ее колени». Она схватила руками мои волосы и стала играть их кудрями, как ребенок.

– У Троля были такие же пушистые волосы, как у тебя, – странно сказала она.

Я не знал, кто был Троль. Она глядела на меня, очарованная, ясным взором. Это случилось в первый раз. Я еще не знал тела девушки. Ее кожа горела, как лето, касаясь моей.

Губы мои были скованы льдом – я не находил, что сказать ей. По временам она начинала снова теревить свою юбку, прикрывая ноги. И вдруг ее голос переменялся, она начала прижиматься к моему плечу и обдавала меня разгоряченным дыханием:

– Ах, мне было бы все равно, если бы меня бил мой возлюбленный.

Тогда я подумал, что она, несомненно, уже обнималась с мальчишками. И почувствовал себя очень несчастным, не зная почему, и вместе с тем таким счастливым.

Я пристально глядел на ее голые, загоревшие от солнца ноги. А она беззвучно смеялась мне в ухо и ничего не говорила.

Грубая холстинная рубашка напрягалась под ее упругой грудью. Эта девушка жила непосредственной жизнью природы. Великий поток могучей животной жизни расширял ее ноздри.

Простые люди гораздо ближе к природе.

Уста ее приблизились к моим, ее смех щекотал мою щеку. Внезапно на меня напал такой страх, что я бросился на нее с криком. Однако я не испытывал злобы, скорее хотелось плакать. Маленький свирепый и неуклюжий самец, новый человек с объятиями любви и ненависти пробудился во мне сквозь это смутное волнение. Под моими кулаками она смеялась едким смехом,

закрыв глаза, прерывисто дыша, охваченная напряжением страсти. Пальцы мои пронизывало острое наслаждение: руки беспомощно ослабели – я не заметил, как ласкал ее маленькую грудь.

Вдруг она вскрикнула и, впившись губами в мои губы, стала бешено кусать мой рот. Я чувствовал себя бессильным, словно жизнь уходила из меня. И с диким, раненым хохотом она каталась по траве, а я совсем не знал, какое зло ей причинил.

– Милая Ализа...

В моем голосе звучали лукавые ноты искусителя. Но она спряталась за деревья и издали крикнула мне:

– Убирайся! Я ненавижу тебя, как и других.

Я почувствовал ужасный стыд и, посвистывая сквозь зубы, направился под моросившим дождем, вдоль цветущих ив.

И думал: «Вот ты оказался подлецом, и она тебя презирает». Я удалился от реки и, придя к себе, плакал бешеным плачем.

## Глава 4

В тот день я не ходил больше к реке. Кровь моя горела, всю ночь я вертелся в постели, призывая Ализу. На следующий день я снова пошел в лес. Решил сделать то же, что сделал бы мой товарищ – коренастый Ромэн. Для меня это было делом совести. Я хотел при первом же с ним свидании рассказать ему мою историю. Яркое солнце озаряло ветви снопом света, кидавшего на дорогу трепещущие золотые пятна. Я вместе с птицами пел песни, чтобы придать себе больше уверенности. На своих пальцах я все еще ощущал ее упругую грудь, как будто все еще держал эту девушку в своих объятиях.

Но это не было любовью. Мне казалось только, что ее тело было предназначено для меня. В этом таилось смутное чувство господина, властителя, которое, быть может, было знакомо и деду, обладавшему всеми женщинами окрестностей. Эти женщины как бы составляли часть его угодьев, на которые простиралось его право сеньора.

Выйдя из леса, я увидел синевшую в утреннем тумане реку. Как и накануне, я лег под ивами. Но почти в тот же миг воля меня покинула. Мне хотелось, чтобы на поляне не было Ализы. Подошел я к рожице – коров не было, не было там и ее.

Тогда я окликнул ее через поляну громко и ясно. Уверенность ко мне вернулась. Но Ализа не являлась. Никогда не испытал я такой муки. Даже известие о смерти родной сестры – причинило бы мне меньше горя, чем ее отсутствие. Я пошел в сторону селенья. Справлялся об Ализе. Надо мной вежливо посмеивались. Люди, вероятно, говорили между собой о нашем родстве. А я не переставал думать с жадной об ее маленькой груди.

И на другой день тоже ярко светило солнце. Когда я шел по лесу, глаза мои сверкали, как у героя. Мятажным волнением жизни обдавало мое сердце. Я спустился к реке. Я уже знал теперь, как овладеть девушкой. Обе коровы паслись около рожи. Я решил впиться в губы Ализы зубами. Но напрасно искал я ту, которая стерегла их. «Эта хитрая девчонка, – сказал я себе, – нарочно прячется, чтобы быть более желанной. Когда она придет, я прежде лукаво улыбнусь ей, а потом притащу за волосы к мшистому ложу». И окликал ее по имени, ища глазами по равнине...

Но она не показывалась, и я с гневом бросился между ивами к берегу реки. И вдруг увидел я ее открытый рот под водной гладью у самого края реки. Да, ее губы, сжимавшие мои уста, виднелись там, как бледные лепестки цветка, как поблекшая лилия. Слегка рябившая вода придавала ее устам сверхъестественный трепет жизни. Я не испытывал ни муки, ни страха, жгучий чувственный жар еще не покинул меня. Я потянул ее за серебристые пряди волос и приволок на мшистый откос. Я не боялся больше ее злого смеха. Сильно схватил рукой за ее юбку. Делал я только то, что сделали бы все на моем месте.

Но в это мгновение великой жалостью наполнилось мое сердце, я закрыл ей ноги лохмотьями убогого рубища. И она, едва раскрывшая предо мной свою наготу, теперь была вся заткана стыдливостью.

И глядел я на нее, дрожа всем телом. Не помнил, что между нами что-то произошло. Из рта ее выплеснулась вода, как будто слюна, которой она раньше смочила мои губы. Я вытер воду платком и обнял Ализу. Безумно целовал ее щеки и волосы, не переставая звать ее, как будто не была она мертвой. Лицо ее вдруг скорчилось ужасной гримасой. Теперь походила она на Деда, когда он лежал на белой простыне после обряда, между теплившимися свечами. Я опустил ее на траву. Больше не ласкал уже я ее маленькой груди. Скорее чувствовал в себе притупленность и досаду.

Коровы, почуяв шаги по поляне, замычали. Я побежал, чтобы спрятаться в лес. Пришли люди, взяли ее просто на руки и унесли, погоняя перед собою коров.

Пришел я домой к вечеру. Голоден я не был. Я чувствовал в себе такую сладкую муку. И думал: «По крайней мере, уже никто не прикоснется, как я, к ее коленям. Быть может, только Троль». Но его я не знал – он приходил к ней раньше. Я не чувствовал любви к ней, а все же какое-то утешение было во мне, словно она с верностью хранила для меня свою любовь.

Поднялся к себе в комнату. Долго стоял у окна, глядя в ночь, в сторону реки, которая вилась за лесом. Я не видел реки, только темную массу деревьев на равнине. От прозрачных теней веяло прохладой. Кузнечики стрекотали в уснувшей траве. Дохнуло легким ветерком, который нежно приласкал меня, как ласкали ее смуглые руки.

Из глаз моих хлынули слезы. Я протянул руки сквозь ночную мглу туда, к реке. И нежно с рыданием промолвил: «Милая маленькая Ализа, зачем ты покинула меня, не отдав мне своей любви?» Ее ужасная гримаса сгладилась, и мертвой она казалась мне более прекрасной. Я почувствовал впервые настоящую любовь.

Звонили колокола на следующее утро. Жена садовника сказала мне, что на берегу реки нашли утопленницу, деревенскую девушку. Садовника жена не глядела на меня. Казалось, стыдилась. И садовник глядел через окошко. Понял я, что их смущало происхождение девушки и грех моего Деда.

В конце концов, ведь это дитя было мне родным по крови. В жилах у нас была одна жизнь.

Я не в силах был больше выносить их голоса и убежал в лес. Колокола не звонили уже. Я понял, что она лежала теперь, озаренная свечами, в одном из домиков селенья. И я бросился в мох, бился, колотил кулаками землю. Хотелось мне лежать с ней рядом в одной постели с закрытыми на век глазами.

Это безумие изнуряло меня. Я не мог больше есть, не мог спать. Как бледная тень блуждал я с утра до вечера вдоль реки. Отец заехал за мной и увез.

Только в городе я стал немного забывать Ализу. Не думал я теперь больше и о высокой Дине.

Страстная влюбленная душа, какая неутолимая жажда покоя привела тебя в объятия вод? Искала ли ты в них забвенья жизни, обновленья своего бедного избитого тела, просившего только любви? Вспомнился ли тебе образ хрупкого, ничего не знавшего еще ребенка, так плохо ответившего на твое юное желание, когда ты прыгнула с берега? Никогда никто не мог мне сказать – почему утопилась Ализа.

Быть может, могучие соки лета терзали ее дикую кровь, а Троль не вернулся.

## Глава 5

И в коллеже носил я в себе ощущение какой-то раны, мучительное воспоминание о пробуждении моих чувств возле того горячего тела, которое раскрыло во мне источники жизни.

Еще раз Ромэн проявил весь свой цинизм. Он стал подтрунивать над моей трусливостью, ибо я рассказал ему эту странную историю. Он подверг сомнению мою половую зрелость. О своей сестре теперь он больше не говорил. Даже запретил, чтобы при нем упоминали о ней.

Он знал дом, где девушки обнажались и предлагали себя за плату. Заходил он туда уже три раза. Выпивали целой компанией. Развлекался он тем, что принимался колотить одну из этих девушек после проведенной с ней ночи. Правда, и я бил Ализу, – но только не по той же причине.

У этого молодого резвого жеребца сладость побоев возбуждала половое чувство тела. Он был коренастый и сильный. Любовь для него была только необходимой тратой физической энергии. По окончании коллежа я перестал с ним видеться. Однако было бы странно, если бы он, утолив свою страсть, не сделался впоследствии таким же примерным мужем, как и другие. Его безнравственность была искренним увлечением, в ней говорила сама природа, одаряющая самцов, – как у людей, так и у животных, – неиссякаемым источником желания. А во мне жалкие моральные инстинкты, наоборот, соединялись с разъедающим и болезненным возбуждением. Как будто в моих порывах и неуклюжей стыдливости воплощались оба пола: я был и женщиной – со страстной пылкостью мужчины – и в то же время мужчиной – с робкой и пламенной чувствительностью женщины.

В глазах же нашего класса Ромэн стоял на недостижимой высоте. Так как он первый совершил таинство познания женщины, то за ним и упрочилось звание нашего общего наставника.

Он развратил поголовно всех, весь класс находился под навязчивым представлением дома с занавесками, и все наперерыв строили предположения о том, как совершается половой обряд. То один, то другой рассказывали нам с блеском в глазах о том, что пришлось им там увидеть.

В противоположность остальным я испытывал одно только внутреннее страдание каждый раз, когда они обнажали предо мной любовь. Было мне так тяжело чувствовать себя трепещущим и обнаженным с раздувающимися ноздрями перед целой толпой. А ведь губы мои испытали девичий поцелуй. Руки мои ощущали округлость живота Ализы. Это было такое страдание, которого я не сумею объяснить.

Страх леденил меня при мысли о женских формах. Во мне поднимался странный и смешной страх животного, жившего во мне особой жизнью, лукавой и тайной под оболочкой одежд. Мне думалось, что я умру в тот день, когда отправлюсь, как другие, в дом с занавесками. И это страдание проистекало как раз из необъяснимых порывов желания, скрытого в тайниках моего существа. Я не мог больше думать об Ализе, ни о какой другой женщине, чтобы тотчас же не всплывало предо мной в ярких красках то ужасное, чем отличалась она от меня. Мучительно пламенели мои щеки, как только произносили при мне имя женщины.

Случилось так, что мой отец разрешил мне во время пасхальных каникул провести два дня в семействе одного из моих товарищей.

Однажды во время обеда я сидел рядом с красивой и смелой девушкой. Для меня это было пыткой. Я не мог оторвать глаз от ее рук, пухлых и нервных, с короткими, розоватыми ногтями. И от всего этого молодого существа веяло жизнью и грацией! Быть может, и она была не так невинна, как казалось, подобно другим, подобно мне самому. Если бы ее колени встретились с моими под столом, – то, кажется, я тот же миг лишился бы сознания... Но я не находил ничего ей сказать. Таким образом, у нее имелся предлог посмеяться надо мной. Как только кончился обед я скрылся из дома, блуждал по саду, и рыдания душили меня.

Эту девушку я также любил до потери сознания.

Я не боюсь показаться смешным. Пишу я мои признания. И исповедь моя не станет бесполезной, если покажет воочию, что наше ложное воспитание с его проповедью неведения самих себя и извращением наших непреодолимых влечений приводит к самым пагубным извращениям.

Конец отпуска я провел у отца. Обе горничные, которых он оставил, были старые и некрасивые. Я знал, что одна из них каждую субботу мылась под душем в ванной. Я все устроил так, чтобы захватить ее во время обливания. Что произойдет потом, об этом я не думал. Но она услышала мои шаги и заперлась на ключ. И в то же мгновение крикнула с грубой простотой крестьянки:

– Не входи, барчук, я уже спустила рубашку.

И вот ночью я принялся бродить по коридорам возле мансарды. Двери не были закрыты. Перед этими двумя женщинами я чувствовал себя решительным и смелым, как господин перед рабом, как барин перед челядинцем, черной костью, низшим подвластным созданием.

Ко всем другим я охладел. В своем безумстве я любил лишь эти грузные, безобразные тела.

Я увидел их целомудренный сон, усталый и грустный покой выносливых животных. Они обе спали, как дети, натянув до груди одеяла, невинным и трогательным сном.

И запоздавший, спасительный стыд пробудился во мне.

## Глава 6

Один за другим воспитанники моего класса начали посещать дом с занавесками. Сам Ромэн, по праву наставника, водил их туда и присутствовал при посвящении новичка. Его прельщала роль руководителя, и он удовлетворял свое честолюбие, санкционируя их половую зрелость, и они в свою очередь, вслед за посвящением, казалось, выросли в собственном мнении. Движения их становились увереннее, и голос переменялся. Я заметил, что все они, как до них сам Ромэн, переставали говорить о своих сестрах. Познание любви как будто пробуждало в них братнее чувство.

Как бы уродливо ни обнаружилась перед ними тайна, они все же смутно чувствовали ее священный смысл, религиозный характер этого жертвоприношения на алтарь жизни.

Эти юноши, опьяненные своею зрелостью, кипучей обновленной кровью, были подобны тем варварам, которые вступали в храмы, чтобы осквернить древних богов, и, пораженные, смолкали перед их строгими, величавыми изображениями. И они теперь стыдились своих любовных опытов с непорочными девушками.

Оттенок пренебрежительности к целомудренности этих невинных, как ягнята, девушек сквозил в их отношениях к ним. Они бессознательно предпочитали, как новички, этих зрелых и опытных куртизанок.

И произошло со мною то же, что и со всеми, когда я оканчивал коллеж.

Из-за града насмешек товарищей я начал обвинять себя самого в малодушии. Ведь если Ромэн сделал это и все другие за ним тоже, – почему же ты не можешь сделать это в свой черед, – или, может быть, ты слишком немогуч, чтобы походить на всех остальных людей. А в обыкновенных обстоятельствах жизни я не был, однако, лишен смелости и решительности. Однажды из-за небольшой ссоры я подрался на циркулях с товарищем, который был больше и сильнее меня. Произошли три схватки. Из наших ран сочилась кровь, и все же первый отступил он.

Однако при мысли о женском теле я становился бессильным и робким, как ребенок. Товарищи уверили меня, что самый акт совершается быстро и просто. Но тайна этого процесса, церковные запреты и также страх заразиться пугали меня. Другие, по крайней мере, до тайного посещения дома с занавесками прошли уже первоначальную школу и приобрели некоторый опыт, облегчавший им этот тяжелый шаг.

После утомительных споров мое сопротивление было сломлено. Условились, что Ромэн поможет мне, как раньше всем остальным. Обычно после обряда товарищи собирались все вместе и шумно чествовали по примеру древних ритуалов жертву заклания.

Но я просил не разглашать, и Ромэн обещал мне молчать.

Там было пять девушек. Одна из них, очень пухлая с белой холеной кожей, дышавшей свежестью под слоем румян, называлась Ева. Почти постоянно выбирал ее себе Ромэн, и на ней как бы лежала обязанность жрицы этого мальчишеского культа.

Мы с ней вошли в комнату. Она смеялась, и смех ее придавал мне смелости. Я был бледен, нервы мои ужасно напрягались, но в то же время я чувствовал бесконечную надежду на счастье и избавление. Я ждал с содроганием этого момента, как внезапного проявления сил природы. Она осталась в одной рубашке и почти с жадностью прижалась своими губами к моим.

Так же впивалась в мои губы и Ализа.

Всего меня обдало холодом в тот же миг. Казалось, сердце перестало биться, но я не оттолкнул ее. Я лежал у ее груди, как труп.

– Ну что же, дружок... Чего же ты?...

Она обращалась со мною, как нежная мать с ребенком, которому врач вырывает зубы. Она не целовала уже моих губ, только нежно прикасалась ртом к моим щекам, шее, обдавала ласковым дыханием мои глаза и смеялась. Она была как милосердная сестра наслаждения. Со мной произошел припадок. Тело мое пронизала ужасная дрожь. Я зарыдал, и всхлипывание мое затихло среди сдавленных криков.

Я потерял сознание. В момент моей глубокой угнетенности она проявила удивительно искреннее чувство. Она прикоснулась поцелуем к моим ресницам, обхватила меня руками и как ребенка прижала к своей мясистой груди. Шепнула мне:

– Полно, я ведь тебя все-таки люблю, милка. Ничего, это не всем тотчас же нравится...

И это была только проститутка, служанка пошлых наслаждений! Но сколько тайлось в уголке ее сердца трогательной ласки, неподдельной сердечности!

Ее горячие объятия, которыми она согревала меня, ее успокаивающая ласка придали мне бодрости. Я обнял ее, впился губами в ее уста и яростно кусал их.

В эту сверхчеловеческую минуту я испытал словно трепет всего человечества, великий поток бытия.

Сам Геркулес не любил так своей Иолы!

Она теперь сама кричала под моими ласками от наслаждения!

Минуты шли. Не знаю сколько минуло: я потерял ощущение времени.

Но вот с лестницы раздался глухой шум. Дверь распахнулась настежь. Я увидел Ромэна и всю компанию, которая входила к нам, гримасничая и приплясывая. И все кричали: «Дело в шляпе! Ура, ура!»

Руки потянулись к одеялу. Но эта девушка со странным чувством стыдливости из всех сил тянула его к себе, прикрывая и себя и меня до самого подбородка. Я быстро проговорил ей: «Это не моя вина, не подумай... Я опять приду к тебе...» И хотел соскочить с постели в одной рубашке и выгнать всех этих приятелей из комнаты.

Опьяненные грогом, они осаждали нашу постель и закидывали нас подушками. В общем месиве я был как затерянный.

А к этой кукле любовных наслаждений уже вернулось беспечное настроение ее безумной жизни, и она со смехом приняла участие в общей забаве.

Один я мучительно страдал, словно от гнусного осквернения моего обнаженного существа, которое приволокли на казнь, застав за совершением позорного поступка.

Но под конец и я стал бессмысленно смеяться. Как будто и мне стало весело участвовать в этом грубом фарсе. Казалось, в это мгновение и у них и у меня было одно чувство непристойности совершенного жертвоприношения, веселого отречения от чистоты моих девственных чувств, радость гнусного осквернения.

Все прошли через эту смешную церемонию и запивали торжество вином в честь мужества и отваги мужчины. Я не смел им поведать истину, мне было стыдно, что чествуют меня, как победителя, отважного героя или бакалавра.

Ныне, когда я могу спокойно об этом думать, я убежден, что это оскорбление природы, это осмеяние самого нежного, самого трогательного таинства – еще один лишний знак великого заблуждения человечества. Редко решается юноша войти один в тайный храм культа Приапа. Постоянно вводят его туда другие, посвященные, и в свой черед посвящают и его. Вас самих, читающие эти строки, повели туда, когда вас обдавало трепетом созревшего полового чувства, как на ристалище, где обучают проявлениям мужской энергии.

Изначальный и вечный закон непостижимого пробуждает в юноше гордое сознание своего полового значения, с которого и начинается у него истинное вступление в жизнь. И вот что сделало из этого – воспитание, общество, иезуитская, бездушная мораль, мораль стыда, не желавшая признать Бога в чудесной наготе инстинкта. Юноша тайно хоронится в недрах

подозрительных закоулков. Рыщет среди продажных животных, ищет яств у похотливого и публично преданного на истязание тела.

Он ведь только внимает велениям жизни и совершает со стыдом великое и прекрасное деяние.

И поистине оно постыдно, благодаря скрытым извилинам пути, ведущим к нему, благодаря необходимости таиться, как татам, преступникам, осквернителям алтарей.

Все совершают это и, однако, сохраняют в себе тайную краску стыда.

Наконец, наступает пора, когда начинают хором сурово осуждать то, что делают другие, как делали и они. А мораль поучает:

«Иди туда, если тебе нужно, но заметай следы, чтобы никто тебя не видел».

Тот, кто достаточно силен, чтобы не следовать примеру других, почти всегда уступает страху заражения. И эта болезнь была названа позорной по причине позорности органа, по причине позора, который связывается с представлением о поле, так что и сама жизнь и все, что относится к ней, стало разделять этот позор. Но позорна эта болезнь лишь потому, что научились ее скрывать по тем же основаниям, как любовь и все, что касается любви. И любовь, и жизнь одинаково греховны с точки зрения морали. И вот почему после жертвоприношения юношу шумно чествуют согласно ритуалам шутовского торжества в честь бога Пана, не столько за то, что он стал мужчиной, сколько за то, что запятнал себя нечистоплотным соитием.

Человек уступает неодолимой радости разрушать запреты. Совершает он то, что запрещено совершать и, таким образом, проявляет свою свободу. Так утверждает он себя богом.

Вот почему юноша, еще не познавший и которому запрещено познавать, как девственный атлет будущих битв, послушно внимает истинному закону, когда вступает в дом, где познает себя, ибо так совершает он акт свободного человека, и зло не в том, что он туда проникает, а в том, что воспитатели всячески стараются устроить так, чтобы вышел он оттуда с неизбежным презрением и стыдом к своему телу. И вот, когда он уже познал, – любовь навсегда остается оскверненной в его уме.

Великие язычники, боготворившие чистые символы жизни, преклонялись пред своей наготой, как совершенным образом Вселенной. И дом любви воздвигали они рядом с местом гимнастических игр. Но они знали и целомудренных богов.

Но ведь известно: язычество – великая школа безнравственности. Когда ритуалы Азии исказили великие культы первобытной Эллады, – в душах людей уже созрело безумие, и Якхос, Атис-Адонай подготовили почву для аскетизма. Девственность! Утонченное злоторное поклонение идолу девственных недр! Вот где таилось зло, вот где люди навсегда запятнали себя преступлением пред вечным божеством!

## Глава 7

Мне было двадцать лет, а я не знал еще любви. Я приблизился к порогу исповедальни, трепещущий, испуганный левит. Я видел Идола в грозной красоте его персей, но месса, жертва моего пылающего сока, была запрещена мне. Ради моего унижения меня хвалили за то, чего не произошло, но доставило мне славу зрелого мужчины, хотя в глубине души каждый из моих дурных товарищей и считал свою мужественность погибшей. Этим объяснялось их упорное стремление втолкнуть меня в этот дом. Теперь я уподобился им. Нас связывала общность падения, сблизил один и тот же грех. И только один я знал, что не согрешил, и тем сильнее презирал себя.

По окончании училища мы рассеялись в разные стороны. Казалось, все товарищи мои заплатили мне свою дань, и впредь я мог уже без их помощи вступить в жизнь.

С Ромэном я больше не видался. Он был богат и отправился объезжать своих рысистых лошадей в отдаленное поместье отца.

Я же вернулся под кровлю моих первых детских лет. С грустным изумлением пришлось мне узнать, что наша лесная дача продана. Надо полагать, мой отец, узнав о смерти Ализы и подозревая, что крестьянин начнет вымогать с него деньги, хотел таким приемом освободиться от всяких неприятных хлопот.

Никогда не думал я столько об этой дикой девушке.

Мне было как-то грустно идти к ивам у реки.

Ее маленькая бледная тень блуждала здесь печально, не в силах развеять своей тоски. Она подавала мне знаки следовать за ней, приложив палец к губам. Но лицо ее мне не припоминалось. Она стояла вдали, как легкий призрак среди молчаливой природы. Мне казалась она более живой в этой воздушной таинственности, чем тогда в моих объятиях.

Теперь она жила вечной жизнью, как вода и листва. Я не знал – любил ли ее. Она оведала мои грезы, как легкий летний ветерок, и как воздушная мелодия флейты промелькнула она среди ветвей.

Еще много дней спустя слышались эти звуки, и от грусти мне хотелось плакать. Слезы подступали мне к горлу, я горько звал ее. Она казалась мне теперь более очаровательной, потому что была лишь безумной игрой моего воображения.

В себе самом я ощущал с тоской живую рану, нанесенную моей непорочности. Чувствуя на улице легкое прикосновение женского тела, я не мог уже отделаться от навязчивых мучительных наслаждений. Ни одна женщина как будто не обращала внимания на такого хилого и застенчивого прохожего, каким был я. Только одни мои волосы были всегда шелковистыми и кудрявыми и так нравились Ализе, потому что были пушисты, как у Троля.

Но я не приковывал к себе ничьего внимания. Все женщины, напротив, с поощряющими улыбками обращались на Ромэна. Может быть, потому, что более целомудренные чувствуют влечение к царственным натурам, к насильственным и стремительным характерам. Чудный дар чутья, тайной обаятельной покорности предупреждает их о присутствии завоевателя.

А что было у меня? – Стыдливая краска неповоротливого, пугливого юноши? Мой мягкий женственный темперамент противоречил моим сильным и бурным влечениям. Меня снедала мучительная тоскливая мысль, что хоть я и мужчина, но лишен возможности изведать наслаждения.

Во время отсутствия моего отца я однажды забрался в библиотеку. Доступ к ней мне всегда был закрыт, как будто в своей узкой дальновидности отец мой боялся за влияние некоторых книг на мою легко возбудимую впечатлительность. Он, вероятно, выказал бы не менее предупредительности в отношении лаборатории ядовитых веществ или погреба крепких напитков. И поэтому ключ от библиотеки всегда носил при себе.

В школе я совсем не читал романов. Святые отцы, добросовестные соглядатаи, упражнялись в тщательном надзоре за этой подозрительной литературой.

У отца оказался отдельный том «Любовных приключений кавалера Фобла». Роясь в книгах, я нашел завалившуюся за полку папку с картинами. И ужаснулся прелести греха, который раскрылся пред моими взорами.

Никогда впоследствии я не мог восстановить в своей памяти того жгучего и бурного волнения, которое охватило меня при взгляде на эти отвратительные картины, изображавшие кучи дьявольски сплетенных тел, подобных виноградным лозам.

Я испытывал неистовые величайшие иступления. Ноздри мои напряглись до состояния оргазма. Душа затвердела, как кусок металла под ударами молота. Показалось мне, как будто чьи-то убийственные, нежные руки выворачивали мои внутренности.

Пламенные и пышные, мясистые тела, тяжелые кучи стиснутых грудей сдавливали мне горло от алчных желаний и заглушали крики. Все живое во мне напряглось, как в приступе корчи. Нити нервов моих натянулись, словно канаты на лебедке. Не знаю, как я не умер от невозможности жить после этого. Едкий, вяжущий сок оросил мои губы. Одно мгновение, и я ощутил, будто навеки застыл в ледяных озерах, будто без конца сгорал на остриях жаровни. И потом – все погрузилось во мрак.

Прошло некоторое время. Я увидел себя распростертым на полу с измятыми картинами в руках. Я все еще не понимаю, какие высшие силы держали меня вне пределов жизни. Я умер на несколько мгновений частью своего существа, и эта смерть без всякого сомнения обнаружилась потерей сознания, в котором растворился приступ моей телесной муки.

И это открытие не явилось для меня обычной пустою забавой. Оно оказалось для меня причиной жестокого и мрачного безумия. Я испытывал бесчувственное состояние, подобное священному ужасу. Я отстранил картины от себя.

Хотел бы лучше никогда их не видеть. Да, я верю, что в этот миг душевной ясности меня посетили святые ангелы сострадания и спасения.

Слезы лились из глаз моих, как будто своими струями хотели смыть недавние пагубные впечатления. Они омыли, хотя на время, мою раненую душу и освежили ее. Я сложил молитвенно руки и попробовал молиться. Хотел произнести слова умиловления, которые научился лепетать в детстве. Но пятно позора уже лежало на моих устах, как и в сердце. Молитва о божественной помощи замирала по мере того, как высыхала очистительная роса на моих глазах.

Ангелы спасенья опять покинули меня. Мои пальцы – послушные служители низменных внутренних влечений – снова почувствовали возбуждение от прикосновения к картинам. Воспоминание о недавнем, избегнутом, благодаря помощи свыше, испытании не могло победить их преступного тяготения, и глаза мои, словно осужденные, снова упали на убийственное изображение.

Тогда я ощутил во всей своей силе беспощадные опустошения гнилой лихорадки, которая овладела мной и уже лишала меня воли. Мой спинной мозг трещал. Я упивался неслыханным клокотаньем сладострастья, насыщался его разъедающим, дурманным зельем. Самая крепкая серная кислота не сжигала бы моей крови более истребительным огнем.

Эта картина похоти засасывала меня, как топкое болото.

Без сопротивления, с душой подавленной и безучастной, я швырнул моих ненужных ангелов спасения в грязь, где валялась груда мусора.

Не было во мне больше страха гибели. И злая радость уничтожения, дикое, бешеное наслаждение осквернить свою внутреннюю красоту отнимали у меня всякое сопротивление и поддерживали во мне это растлевающее настроение.

Но в то же время во мне возрастала ужасающая правда, охлаждающая мое жгучие влечение. Как?! Мой отец, этот суровый юрист, известный всем за порядочного человека, пичкал себя

этими грязными картинами похоти! Свой голод и жажду утолял он этими умопомрачительными яствами, как и я! Все, что вкоренилось в меня и было дорогим и священным, разбилось вдребезги.

Я увидел обманчивые маски, великую порочность общества, которая загрязнила даже самых мудрых. Мне показалось, что такое всеобщее безмолвное соглашение оправдывало меня в моих собственных глазах, но зло от этого не становилось меньшим, и краска стыда за общую жалкую слабость не сходила с моего лица.

Стыд за отцовскую наготу, которую я так подло обнаружил, – никогда уже больше не покинет меня.

Ной снова валялся на пути, опьяненный вином плотских вожделений. Я чувствовал себя наказанным за мою доверчивость и уважение к тому человеку, который должен был своим примером предотвратить меня от низменных влечений.

Комната мне стала невыносимой. Словно осквернитель святых останков, выбежал я из этого места, куда завела меня судьба. Я уносил с собой мерзкую книгу и две картины из самых грязных.

В маленьком помещении, которое отвели мне для занятий, среди запущенных деревьев сада, кидавших зеленые тени в мою обитель, я мог свободно предаваться глазами и умом греху.

Иногда я оставлял город и забирался в деревню. Здесь я мог с меньшей опасностью наслаждаться завидными приключениями моего милого кавалера! О, как я завидовал ему! Плакал от восхищения перед ним, как перед героем. Как возбуждающий напиток, как мед, сдобренный пламенным фосфором, впивал я в себя прелестные проказы – весьма умеренные, впрочем, если их сравнить с той грязью, которая с тех пор наводнила наше общество.

В особенности же картины были для меня источником отравляющих и вечно новых наслаждений. Они вливали в меня яд настоящего полового безумия. С застывшей знойной страстью, с пылким изобретательным воображением, переходя от догадки к догадке, я нагромождал болезненные образы – плоды частых кошмаров так, что получалась целая мозаика непристойных фигур. Она стала для меня живым, реальным и многосложным существом, наподобие гидры.

Картины казались мне такими яркими, что я как будто чувствовал в воздухе одуряющее дыхание и едкие испарения человека-зверя. Да, это был похотливый, вечный зверь, рыскавший по пепелищам Содомы и Гоморры. Эти храмы скверны были истреблены серным дождем за то, что предались подобной мерзости плоти. И бесплодная трава произросла из порока оголенной пустыни.

Теперь я согласился бы быть самому осужденным, чтобы разделить и свою долю в этом сверхчеловеческом скотстве. Но я не был уже прежним, трепещущим пред священными запретами, юношей. Завеса разодралась – я познал ужасающую тайну.

В молодом развращенном уме оживают под влиянием этого рвения к злу – муки прежних поколений, измученных жаждой выполнить свое назначенье.

Это рвение погружает его в угрюмую страсть, в мрачное неистовство первобытного человека, вышедшего из состояния девственности и погрязшего в угрюмом фетишизме. Древнее страдание снова вступает в свои права – ибо кто может оспаривать, что в этом не скрывается еще одна из форм Рока, замыкающего человека в круге страданий и толкающего его к освобождению через смерть?

Я праздновал пышный и грустный праздник. Я стал жрецом, который с гневом срывает с себя повязки и повергается ниц к подножию святотатственного алтаря. Я также совлек с себя прежнюю детскую игру. К мерзкой любви простер мои руки – но обнимал один только призрак.

Меня охватывала с насмешкой пустота вслед за обманом неутоленных искушений. Посвящение в таинство любви оказалось для меня неизбежной стадией мученья, обнаружившей во мне рождавшегося мужчину. Я ощутил в себе смутное чувство стыда и гордости, чув-

ство падения и свободное проявление своей мощи. Я смутно понимал, что освобождение пришло ко мне от тех же дьявольских чар, которые меня погубили.

И стал я одержим галлюцинацией картин. Стоило мне дотронуться до них – и мои руки каменели, знобящая, жгучая дрожь пронизывала суставы, как от прикосновения к напряженной от любви женской груди, как при внезапном огненном трепете двух тел. С этих пор я не мог приблизиться к женщине, чтобы не испытывать такого ощущения, чтобы не содрогаться всеми нитями своего организма от этого электрического тока. А вместе с тем я не знал любви в эту пору. Я знал лишь один позорный идол, уродливо заменявший мне красоту. Было одно лишь пугающее, жестокое сладострастие, настолько же напряженное, насколько болезненно и наивно было извращение, питавшее его. Как бы ни была особенна моя чувствительность, я могу засвидетельствовать здесь пред всеми, что ни один я испытывал это сладострастие. Ложная стыдливость, прививаемая воспитанием, отчужденность пола от пола в детские годы, мучительный стыд своих органов – все это постоянно подготавливает почву для подобных этому состояний и вот почему достаточно бывает раскрыть какую-нибудь книгу, или картинку, чтобы забродили и забурлили соки. И бледный юноша в своем мучительном половинчатом познании и неведении начинает создавать себе овеществленные образы и, мучимый призраками, освобождается уродливым и жалким способом от плотских вожделений.

Да, извращение чувства сладострастия, припадки жажды распутства, скрытые и мрачные обряды, которыми оскверняется любовь, вкоренялись воспитанием при помощи нелепого векового заблуждения.

Первоначальное христианство, крещенное в холодной и лучезарной купели – было гораздо меньше состоянием человечества, достигшим понимания божественной красоты, чем искупительным отдыхом, острым, освежающим перерывом вслед за великим кризисом мифологической вакханалии. Отвергнув плотское существо, провозгласив одну лишь духовную добродетель, католическая церковь прежде всего свергла устаревших богов – прежних величавых символов, дошедших до грубого низкопоклонства, до отвратительных ритуалов разнузданного упоения страстью. Природа с ее произвольными порывами, с ее трогательными потребностями стала грехом, стремившимся свергнуть запреты, наложенные на телесную любовь.

Времена переменились. Более утонченное нравственное сознание проникло в человеческие мозги, а мы как будто все еще продолжаем совершать очистительные жертвы, ради искупления первородного греха.

Вечно влачит за собой этот первый, дрожащий человек в лице своих потомков угрызения совести и трепет страха за свои обнаженные члены.

Древнее церковное осуждение не перестает висеть над человеческим существом в его наиболее прекрасные моменты сокровенных побуждений и непосредственной и чистой красоты.

«Прикрой позор своего тела, затки краской стыда мерзость того, что дала тебе жизнь. Ты проклят за свое появление на свет, и врата, разверзшиеся при рождении твоём, закрылись над твоим бесчестьем. Да не дерзай познать себя. Отрекись от тела своего, сладко трепещущего. Да отвратятся глаза и руки твои от приковывающей приманки, которую Божество с какой-то мрачной иронией поместило в середине человеческого тела, как ось твоего существа и повелело тебе презирать ее! Пусть жгучей кипят соки сил твоих, твой нежный пламень страсти и сладкое волнение девственных чувств – все это лишь для того, чтобы ты с жалким высокомерием отсекся от своего столь явного предназначения на земле. Но если же ты будешь все-таки создавать жизнь – совершай это с горестной мыслью, что жалкий плод любви твоей навеки загрязнен!»

Так говорили заповеди, и тот же голос продолжал отвергать познание самого себя, которое является первоначальной обязанностью человека.

Тело стало укрываться. И это было лучше.

Заледенелые лилии девственности познали свою непорочную белизну только при багряном свете стыда.

Но оскверненная природа мстила тайными вспышками, бесконечными и сумрачными наслаждениями, тем более приятными, чем преступнее они были. Неведомый огонь охватил пожаром человечество, залил его вулканической, черной лавой сладострастия, в сравнении с которой языческая любовная страсть казалась веющей прохладой. Но эта страсть перегорела, потому что ей предоставляли свободно гореть.

Грех родился во мраке алтаря из неистовых обрядов смерти – этого последнего символа девственности – блеклый и бесплодный, как и она, родился чудовищным противоречием в брызжущем потоке любви. Кто станет сомневаться, что мистический культ девственности – этот краеугольный камень католического здания, набрасывая покровы и окружая волнующей тайной обнаженный лотос Индии – брачный цветок жизни и вечности – не возбудил в нас адского стремления его познать и не сделал из нас похотливого стада, плетущегося из века в век, вдыхая отравленные испарения, немые и смертельные туберозы Идола, притаившегося в своем капище?

О, нежный, непорочный и ласковый зверь-человек! Дитя – человек! Ты восторгался в ту пору своей лучезарной наготой и восхищался тому, как сочеталась с твоими силами эта дивная гармония среди гармонии Вселенной!

Ты вступил под благодатную сень мира чистосердечным и непорочным с твоим телом, напоминавшим хребты гор, расщелины долин и кудри косматых лесов. Они были не более одеты, чем ты сам.

Они стояли обнаженные под улыбкой зари, под поцелуем полдня, под лаской объятий ночи.

Незачем тебе было мучиться внутренней тревогой, свежей и лучезарной сущностью твоей возраставшей с сиянием твоих очей и постепенно раскрывшейся пред тобой. Светозарный и откровенный, ты чувствовал, как свободно рождается из жизни твоей новый бог! Как же мог бы ты оскверниться, зная себя, зная какую тень бросит и на твой путь необычное движение?

Твоя любовь была величава и проста, как любовь в природе под миганием звезд.

И зверь еще не ворвался в двери Эдема.

## Глава 8

Догадки об устройстве женского тела, благодаря описаниям, которые я вычитал из мерзкой книжки, и гравюрам извращенного живописца, не освоили меня со скрытой тайной, а только наполнили меня чрезмерным страхом.

Я представлял это тело более ужасным, представлял себе темные и скрытые чары колдовства, где женщина казалась искусной волшебницей, коварно трудившейся над всеобщей гибелью. Для моего духовного существа это было горючей и живой смолой, не переставая с недавней меня, едва посвященного в тайну юношу, расшатанного разьедающим и мрачным возбуждением.

Я не испытывал никакого наслаждения от связи с этой толстой, животной женщиной, способной удовлетворить лишь такую ограниченную натуру, как долговязый Ромэн. У меня же любовь соединялась с особым тайным обрядом, обрекавшим ее на проклятие.

Мое мрачное влечение облекло женское коварство позорным и властным искусством, тем более гнусным, что орудием его были презренные и низменные части творенья.

Так научили меня относиться к ним у отца и в коллеже. И с тех пор каждая женщина для меня таила в себе грех.

Ее утроба, предназначенная для людской пагубы, предстала предо мною, как колдовская чаша, как раскаленный котел пылающих адских огней.

Страх и желание тем более отталкивали меня, что я уже был окован цепями страсти к ее телу и запутался в сплетеньях виноградных лоз ее величественной красоты, в которой бродили соки вождления.

И я ненавидел ее столько же, сколько и любил.

Вспомните, что тогда был я только юношей, извращенным именно вследствие своего чрезмерного целомудрия, и подумайте о тех жестоких ошибках, которые были причиной этой болезненной развращенности.

## Глава 9

Мой отец мечтал для меня о спокойной обеспеченности и об умеренных и правильных занятиях юриста в провинции.

У него было достаточное состояние и некоторая доза умеренного честолюбия, так что он не желал большего и для сына. В нем можно было заметить прежде всего старание казаться человеком высокой нравственности. И он был им, несомненно, в глазах людей. В душе своей он лелеял мечту о достойной для меня трудовой и безмятежной жизни. К сожалению, никакого призвания к юриспруденции я не чувствовал. Пылкое и чуткое воображение и мой чувствительный и своевольный ум влекли меня скорее к иным занятиям, в которых греза играет большую роль. Тем не менее я повиновался его приказанию, ибо между нами никогда не было откровенных отношений.

Он пользовался своею властью отца, чтобы предписывать мне послушание и не допускал с моей стороны возражений.

Он сбыл меня на руки одной родственнице, жившей в университетском городе, где я должен был поселиться. Я спрятал на дне сундука «Любовные приключения кавалера Фобла» и две картины, ставшие для меня средством усиленного умственного разврата.

Прибыв на место назначения, я встретил молодых людей, стремившихся вдоволь испытать наслаждения, благодаря свободе и удаленности от родительского ока. Это уже весьма отличалось от мальчишеских выходов моих школьных приятелей.

Эти молодые люди находились на пороге жизни. Они перешагнули возраст неясных волнений, когда тело только начинает искать себя. Большинство из них старалось только как можно быстрее достигнуть положения, чтобы затем насладиться существованием. И поэтому они делили жизнь между развлечением и наукой.

Само собой разумеется, я тотчас же был подвергнут испытанию относительно моих склонностей, о степени моего знакомства с женщиной. Я остерегался признаться им, что она была знакома мне лишь по случайным и очень поверхностным приключениям. Например, я старался поразить их многочисленными спокойно переданными рассказами о моей опытности по этой части. Я делал вид человека, давно потерявшего свою невинность.

А между тем, я вел замкнутую и скрытную жизнь. Ночных прогулок, бесцельного блуждания, наподобие охотника, по следам добычи по однообразным и суровым улицам в самом сердце города – я избегал из жалкой трусости и малодушия.

Опасливо сторонился я поездок по увеселительным садам, куда отправлялись почти все, катанья на лодках вдоль реки в сообществе залихватских девок, боялся осушать с ними круговые бокалы любви. Мои новые товарищи обзаводились любовницами, которые после кратковременной связи переходили к другим. И так сообща разбрасывались трудовые родительские деньги на разные товарищеские попойки, на пляски разных балетных танцовщиц, на скачки в манежах верхом на деревянных конях.

Эти веселые молодчики, разбухшие от деревенского приволья или провинциального здоровья, полагавшие все свое назначение в будущем – чесать языками на судоговорениях, или в том, чтобы вскрывать с хладнокровием мясников внутренности своих ближних, совсем и не догадывались о мучительных припадках моего болезненного эротизма. Я завидовал их непридуманной развязности в обхождении с девицами, умению добиваться взаимности, их ограниченной чувствительности, благодаря которой они получали любовь, как сами выражались, среди забав. Женщина для них, как и для Ромэна, была лишь плотью для наслаждения, жирным яством на замаранной скатерти шинкаря, чаркой вина, поспешно опорожненной на пороге харчевни. Напротив, для меня она продолжала хранить священное и грозное обаяние, как черная Изида.

Я остерегался следовать за ними в увеселительные учреждения. Кроме того, как следовало вести себя и какой делать вид при дерзком натиске уличных девок – я совсем не знал. Где было знать мне – девственнику, измученному нечистой жадой, сжигаемому, как смешное подобие Геркулеса, пылающей одеждой собственной непорочности. Теперь мне было стыдно за эту непорочность. Я сознавал, что для молодого, свободного и пылкого человека моего возраста пребывание в безбрачии являлось каким-то противоречием. Я производил на самого себя впечатление сельского священника, закаленного в воздержании и высыхающего телом, как угодник божий под защиту крестного знамени.

Да, я думал об этом, как все люди, ибо девственник является посмешищем в глазах всех, кто отказался от своей невинности, но не хочет называться развратником.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.